

По Волге.

(Из записки немки).

Говню гудит пароход.

Заметенные синей темнотой августовской ночи, дремлют горбатые Жигули, помнящая Раина. Луна золотым явцем прыгает по лобной воде.

Зеленые и красные глаза бакеиной и мякоч далеко провожают то рачливо бегущий пароход.

На корме весело.

Мешки, улам пораздвинулись в сторону.

В круту пшиска.

Пингит на спор, на пару пива: кто кого переишьет. Гармонистинаид лихо разводит меха, ревет двухрядка, захлебываются ко добоельчки.

Один из пшисунов—молодой бедобрысий парень, хлопнув о пол каргузом, чертом носится по кругу, то пускаясь в присядку, то под прыгивая на два локта.

Кругом в разных выраженных частях добрыштные лица. Горят глаза. Ракшоветятся шутки-прибаутки, подбодряющие советы:

— Не подгад, Митий.

— Мазу держим...

— Шаре крут!

— Сып!

— Отвядься, худая жвьсь!

Оба пшисуна упарились.

Наконец после особенного вышляса чытана Митий утер рукавом пот с разгораченного лица и с трудом выговорил:

— Слаось.

Пешили в буфет за пивом.

II.

У борта на мешках и расшнечных сумдучках—семья голодающих, испраждающихся на родину. Худая, кешитал баба, кормит

грудью ребенка. Муж достает из пестрициного мешка краюху и арбуза. Начинает жевать.

— Где были?—спрашиваю.

— В шахте, товарищ, работали.—отвечает сам.—в Кюзовке риботали, в Махмуте (Вахмут)...

— Поди, не сладко жилось на чудной-то стороне?

— Какая там сласть...

Женщина качает на коленах умокнувшего ребенка и тихо говорит:

— В калармах, в сырости да холоде две зимы выжляли... Мученья то уж чай, приняли! Охо-хо... Семеро у меня их было, шискунство, всех зарыла.

Заплакала, засморзалась в угол лок рваного платка.

— Не горюй баба, этого добра назавшем... Был бы хлеб, а то еще должину народишь.

Говорить—говорил так-то, а видеть, и самому горько было. Трасушимися фуками заваливал мешок. Глаза кипели безпокойно.

— Об земле, будто, соскучился, дивьшительньо. Тут вот едешь—

горам, лесам заторожен вольный свет-то. Бхагодать... А как прорвется, где гора, увидишь пшешенку, да услышишь, кто-то нукает конюгу своево... Тут уж горько, сердце в груди преворачивает ся. Горько.

И приедешь опять к пустому месту...

—К пустому, к пустому...

Жевя дополняла его мыслит:

— Хощь умереть на своей етороншке. Пускай хоть кости стигют в родной земле.

Музык потонулся, хруснул костами и с умешкой сказал:

— Закаркала, дура-калива...

Зачем умереть? Умереть недолго: сунул шею в петлю, да и на сушок... Еще жить будем. Авось, как-нибудь раддышмся.

Забрежжит рассвет, потузило свежей сыростью.

III.

Четке вырисовываются горбушки гор. Вдоль берегов в крешких парусах бегут рыбацкие лодки.

На корме храни. Уснула даже компания торгашей часа три споривших о каких-то недостающих пшш переданных ста рублих.

Из-за хребта гор пещушным грешком показало солнце.

Навстречу бегут песчаные отмели, широкогрудые бедляны и баржи, груженные лесом и дровами.

Перегоняем плоты. На крыше избушки, широко расставив ноги, стоит мужик в красной, плещущейся в ветре рубашке, машет каргузом:

— Го-го-го-оо...

— Гу-гу-гу—откакивается пароход, и гудкое эхо широко катится по тирам.

Навстречу бежит веселый, выжский город, умытый за ночь дождем.

Колокольные перезвоны треплются на ветру, как остатки недавнего прощания. Да с набережной пустыми, мертвыми глазами выбитых окон глядят на Волгу тракторы и кабаки, в которых еще не так давно гуляли "кушцы большиё".

Пристань замечает мерный гуд начинающейся работы. Гремят телеги ломовиков. Неторопливо, врзвалку собираются крячичники.

Мощным гудком пароход окончательно рассеивает сонь утреннюю.

— Держи—держи-и-и...

— Есть.

По бурлящей воде чалка тинет ся к пристани.

Волга живет.

Артем Веселый.